

КРАСНАЯ НИВА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ♦ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ♦ ЖУРНАЛА
А.В. ЛУНАЧАРСКОГО и Ю.М. СТЕКЛОВА

№ 23.

Москва, 10-го июня 1923 г.

№ 23.

СОДЕРЖАНИЕ.

А. Малышкин. — Комнаты, рассказ.

Л. Гумилевский. — Четыре человека, рассказ. — Д. Булгач. Путем-дорогой, рассказ. — А. С. Грин. — Блестящий мир, роман.

Стихи: В. Маяковского, С. Клычкова, А. Барковой, А. Мариенгофа и Э. Толлера.

Статьи: Я. Окунева, Л. Никулина и др.

Иллюстрации: Наши представители за границей, беспартийная конференция, комсомольская тройка, смена кабинета в Англии, выставка картин Кузнецова и Рокотова, в Донбассе, современная Бухара и Афганистан, премированный проект дворца труда и т. д.

Внутренний и иностранный обзоры.
Критика и библиография.



Тов. **Шумянский**
(полномочн. представитель в Персии).



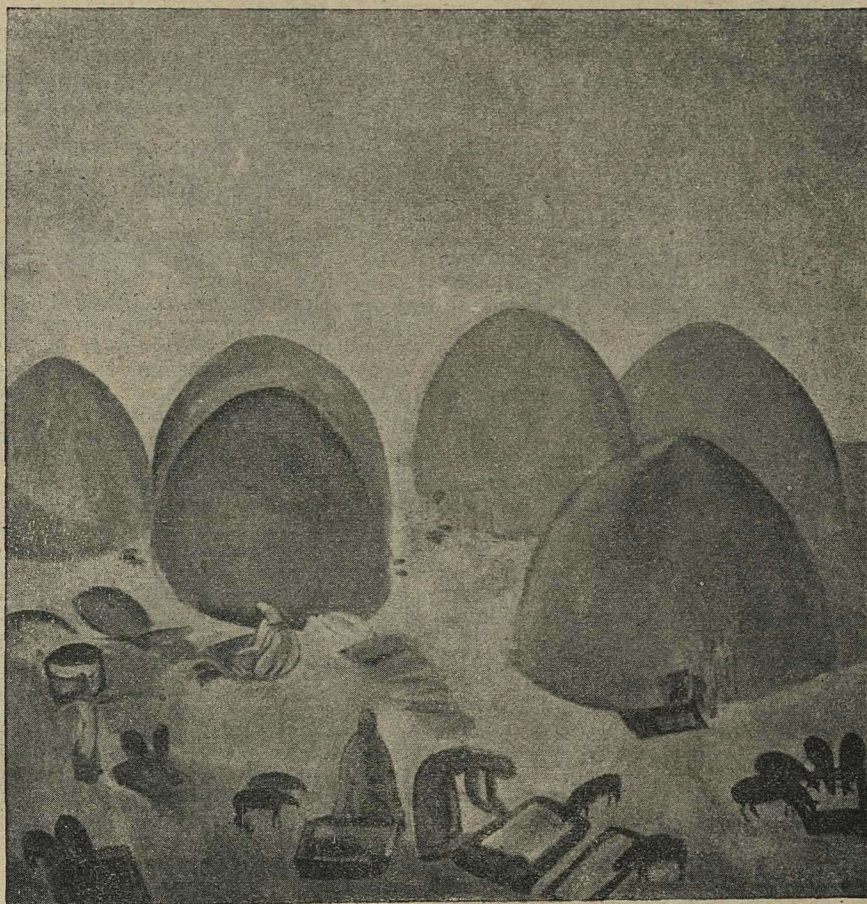
Тов. **Раскольников**
(полномочн. предст. в Афганистане).

Наши полномочные представители на Востоке, отозвания которых требует Керзон.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЙ В. Ц. И. К.“

ВЫСТАВКА КАРТИН П. КУЗНЕЦОВА.

(К 20-летию его художественной деятельности).



На водопой.



Труд.



В Бухаре.

В РЕВОЛЮЦИОННОЙ БУХАРЕ.



Пение Интернационала.



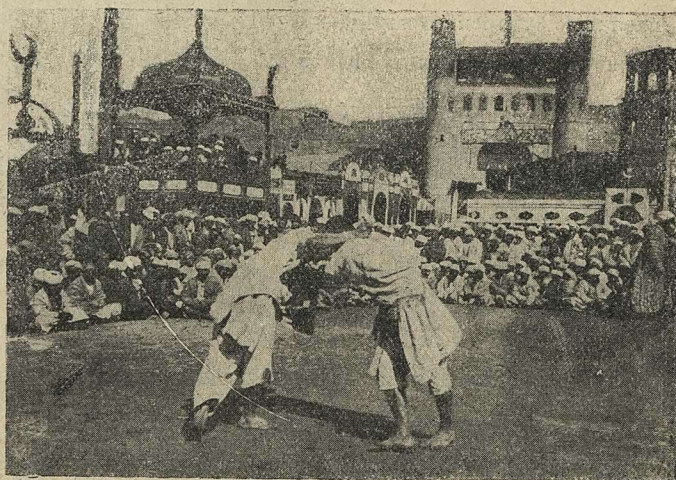
Ата Ходжаев, предс. Бухарского Ц. И. К.



1-е мая на улицах Бухары.

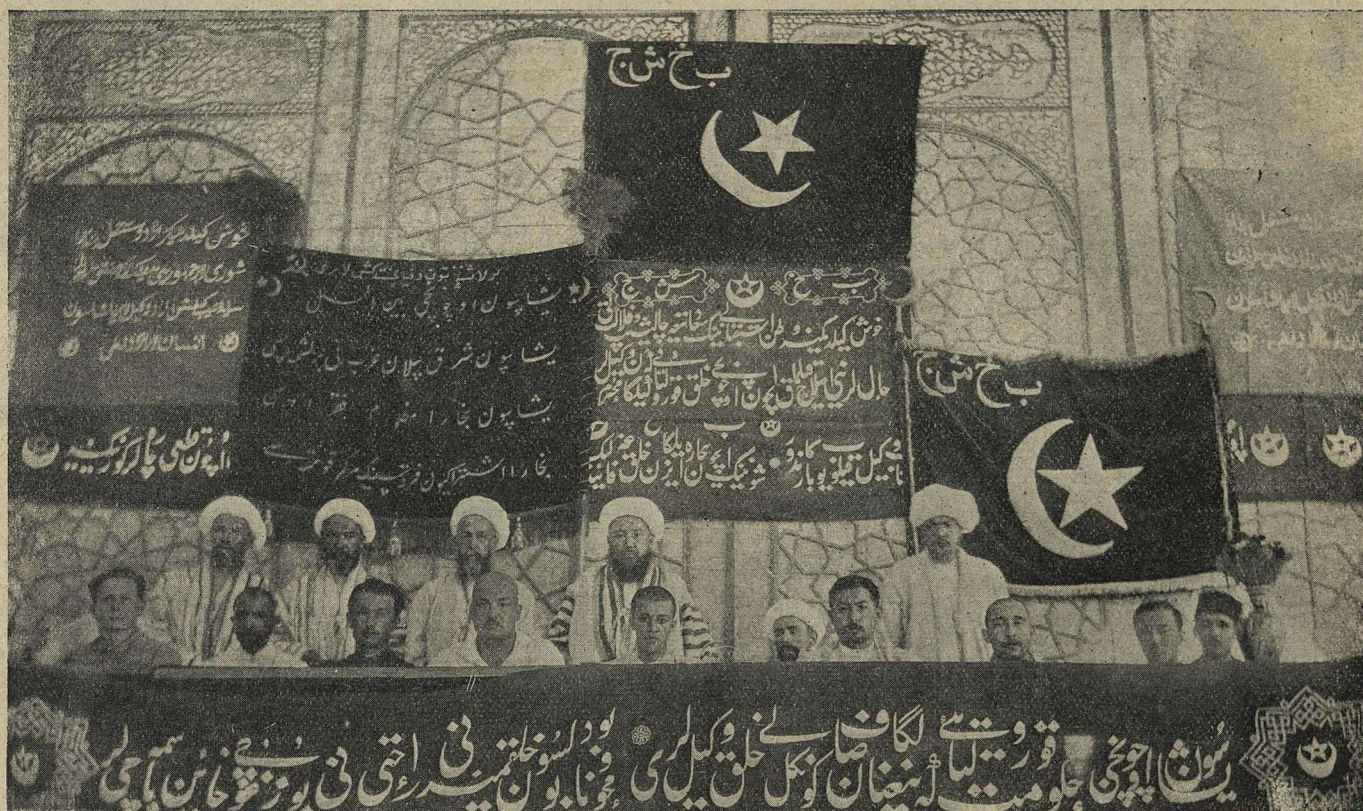


Назир просвещения Кари-Юндаш произносит речь в Регистане.



Спорт в Бухаре: борьба на площади.

Б У Х А Р А.



III съезд Советов Бухарской советской республики.

(В центре—Предс. Совета Назиров, т. Файзулла Ходжаев, под ним—полн. представ. Р.С.Ф.С.Р. в Бухаре—т. Фонштейн).

На площадях, где так недавно восторженными криками встречали эмира бухарского, собираются на митинги, слушают революционные речи и поют Интернационал. В Бухарском Кремле—Регистане—теперь, вместо английских «табленников», заседают выборные представители трудящихся масс бухарского народа и решают его судьбы в его пользу, для его благополучия, для его процветания. В театрах, где недавно еще тешились исключительно «лучными боями», теперь бухарские массы смотрят революционные кино-ленты.

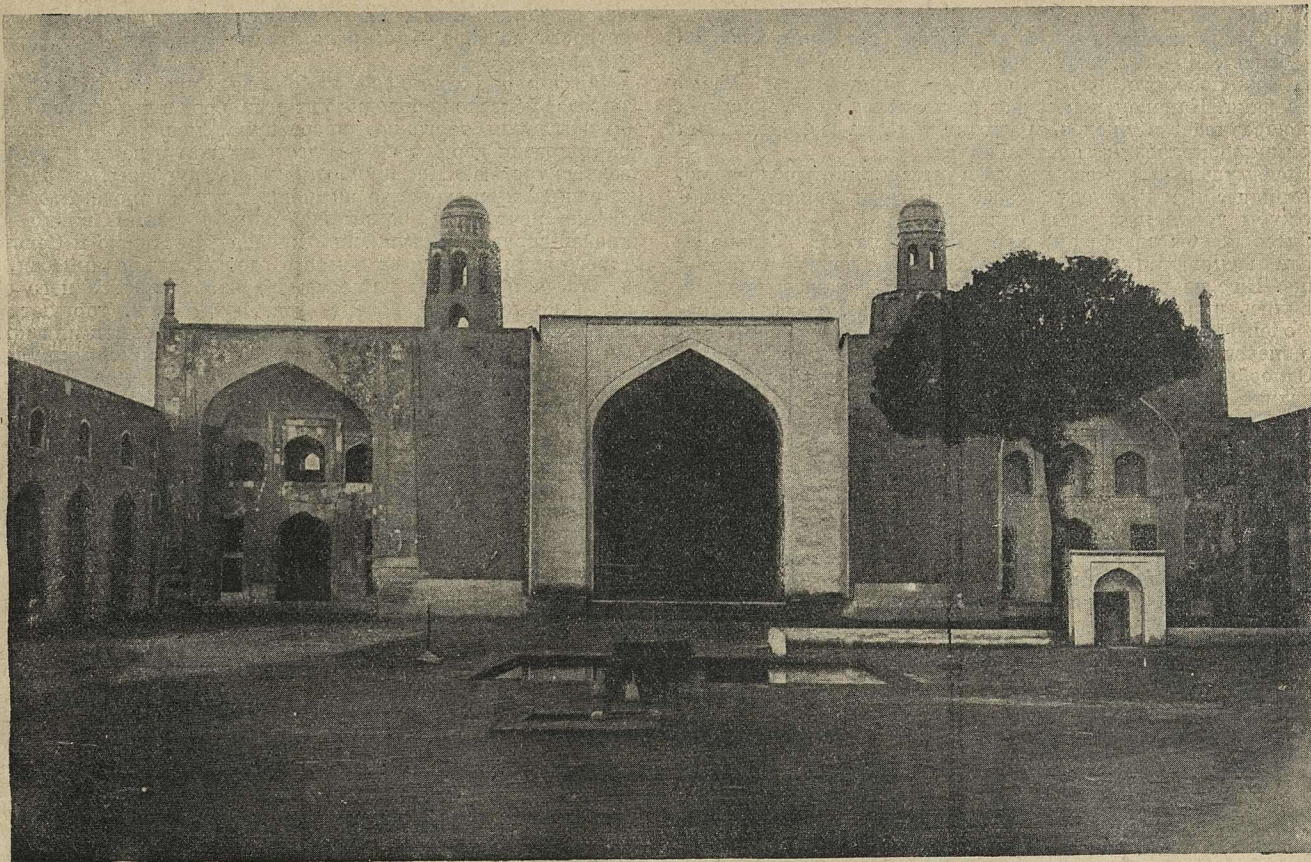
Годы освобождения переродили экономическую жизнь



Съезд казиев (судей) обновленного суда в Бухаре.

Бухары. Саиль—праздник весны, когда пестрые бухарские площади расцветают шумными ярмарками, наполняются гортанным говором, на котором совершаются крупнейшие торговые сделки. Раньше Саиль ознаменовывал очередную продажу экономических благ заморскому империализму. В этом году сверкая электрическими огнями Регистан, на площадях живописно расставлены были киоски и павильоны, около ворот Мирза Назрулла была установлена электрическая станция, которая бросала яркие лучи света на

эти многочисленные сооружения [и никогда чай-ханэ не видали столько посетителей, как в дни Саиля.



Герат. — Ограда крепости и мечеть.

А Ф Г А Н И С Т А Н.

Путевые заметки Л. Никулина.

От крепости Кушка до Герата.

После вагонов Средне-Азиатской дороги—сказочный караван, напоминающий путешествие султанши из сказок Шехеразады, переносящий в азиатское средневековье, когда не существовало даже двухколесных скрипучих туркестанских арб. Последние три версты по колесной дороге—вместе с тем последнее впечатление путешествия в колесном экипаже. Красноармейский пост на границе. Рука у козырька шлема.

— До свиданья, товарищи!..

Там в долине уже виден глиняный форт и круглые башни афганского поста. Играет незнакомый сигнал рожок и выстраиваются солдаты в незнакомой пока еще непривычной для глаза форме. Мы перешли границу.

Побрякивают медные бубенцы. Скрипят параллельные бревна вьючных носилок под зеленым вылинявшим чехлом. Тридцатая верста по выжженной долине среди невысоких холмов, пересохших ручьев и оросительных каналов-арыков. Быстрый шаг,—привычный шаг худой, высохшей лошади, помахивающей головой и хвостом. И так час за часом до заката.

То обгоняя, то отставая, едет афганец-солдат в английском френче-хаки, в обмотках, перекинув ногу на шею лошади, держа на весу у луки седла ружье и поет одну и ту же монотонную песню, надрываясь и надсаживая горло.

Пять вьючных лошадей идут, позванивая сковывающей их цепью, подбрасывая желтые кожаные двойные сундуки, а позади бежит, подхлестывая, прикрикивая, подпевая, погонщик-«каракеш». Грубая горная сандалия из сохшейся кожи до крови натерла ему ногу. Иногда он снимает сандалию и бежит босыми ногами по жгучему песку.

Но земля жжет, и он снова надевает их, снова бежит, подгоняя лошадей, и, когда уже нет человеческих сил переносить жару, усталость и боль, вскарабкивается на вьючную лошадь поверх желтых сундуков. Лошадь идет медленнее, расставляет осторожно ноги, приседает, спускаясь под гору.

Дорога—все та же выжженная степь от глиняной деревеньки Чиль-Духтеран на рисовом болоте до синих зубчатых гор на горизонте.

Снова звенят бубенцы. Но чаще останавливаются вьючные лошади, сползают вьюки, погонщики поправляют их и бегут, подгоняя лошадей острыми камнями, метко бросая их в отстающих и ленивых.

Путь пересекает большое расползшееся по степи и холмам стадо. Лошади идут между мохнатыми, бегущими клубками шерсти, стройные оборванные пастухи отгоняют овец в сторону, не забывая отдать традиционный «салам» офицеру-афганцу в серой круглой шапке с серебряным гербом.

Солдат в белой с синими полосами чалме подхватывает на седло белого барашка и торгуется с пастухами. Кончают на трех рупиях, и беленький блестящий барашек привязан за спиной солдата.—Сегодняшний ужин.

Нестерпимо мучительно жжет солнце, так, как нельзя себе представить даже на нашем юге. Спутники прячут под зеленой вуалью губы, потому что слишком хорошо знают солнечные обжог и даже афганцы обматывают подбородок болтающимся концом чалмы. Горы ближе. Медленно мы подползаем к первому перевалу, к Ардеванскому перевалу, самому незначительному по сравнению с ожидающими нас.

В горах спадает жара. Дорога становится разнообразнее. Огромные уродливые камни нависают над вьючной тропой, заваленной острыми обломками. Еще бешенее кричат погонщики, скрежещут подковы по камням и тяжело переступают лошади. Но хуже спуск—по той же вьючной тропе.

Добросердечные всадники и те, кто едет на своих лошадях, идут пешком, медленно шагая по камням и выбирая дорогу, но лошади идут увереннее людей и спускаются по зигзагам с горы к синей горной реке.

В ущелье тишина, прохлада и журчанье речки. Медленнее всех сползает с горы тахтараван—вьючные носилки. Лошади запряжены гуськом и задняя лошадь не видит ни-

чего, кроме чехла клетки, в которой сидит путешественник. Высоко на перевале осталась размытая дождями сторожевая башня. Лошади пьют и снова идут шагом вверх в горы мимо разрушенного, забытого серая-дворца на юг. Речка еще с нами. Караван пересекает ее несколько раз, пока она не поворачивает в ущелье, и уходит туда на юг, окольными путями пробираясь к городу Герату.

Конец ущелью и снова дорога в рытвине по плоскогорью, а потом песок и к вечеру на склоне горы лепятся глиняные кубы домов и зеленые чинары.

Здесь ночлег за стенами деревни в палатках. Только от Герата начинаются станции-раббаты, до Герата—походная жизнь. Еще на рассвете за два часа до каравана вперед отправились палатки, ковры, походная кухня, и когда караван одолевает последние две версты перед деревней, далеко впереди путники видят белые палатки и дымок у ручья.

Однообразный путь кажется особенно длинным в этот последний переход до Герата. Выжженные долины, выбитая в сухой земле тропинка, бугры, волнообразные выжженные холмы и, наконец, невысокий подъем на плоскогорье. Отсюда как фантастическая декорация—восемь высоких минаретов Тимура, особенная темная на фоне выжженной земли зелень садов и глиняные прямоугольники укреплений.

Справа и слева возделанные поля, кишлаки (деревни) подходят к самым укреплениям. Два минарета стоят как две колонны, образовывая как бы арку, которую должен миновать каждый въезжающий в Герат. Въезжая тропка уже перешла в широкую годную для экипажей твердую грунтовую дорогу и за крепостью вырисовывается город, заключенный в четырехугольник высоких глиняных стен.

На север выходят трое ворот и главные из них прямо против военного плаца, где каждый день маршируют под музыку солдаты. Декоративны круглые башни по углам, так же как и вся стена древней крепости, отбивавшей и персов, и враждебные горные племена. Теперь это только эффектная декорация и тема для акварелей художника. Ворота ветхие, деревянные, окованные железом, вечером, после сигнальной пушки, запираются на ржавый замок—тоже только наивная декорация для современных орудий. Вокруг городской стены широкий ров, на дне которого протекает заросший зеленой тиной и камышом ручей. Выше глиняных стен внутри города на холме цитадель—резиденция военного губернатора—командующего войсками. Такой же ров окружает цитадель, но и он зарос камышом.

Под навесом на площади перед цитаделью—старые бронзовые пушки под чехлами. Здесь уже начинается самый город—глиняные узкие улочки, сплошные глиняные стены без окон, улочки, кое-где переходящие в туннели под крытыми галлереями. В крытых улицах даже в самые жаркие дни не просыхает черная липкая грязь и не выветривается смрад и запах падали. Экипаж не проедет здесь и здесь ездят верхом, а не ходят особо уважаемые афганские купцы и ханы. Можно себе представить, во что превращается город во время зимних дождей.

Иногда улица расширяется и на маленькой площади под камышевым навесом—маленький крытый базар, где торгуют фруктами и специями афганской кухни, но самый базар—сердце азиатского города—начинается не здесь, а у ворот цитадели. Там на площади перед воротами стоят слуги, держа под уздцы горячих копей афганских офицеров, чегыре воткнувших в землю пики с флажками обозначают, что военный губернатор, второе лицо в городе после наместника, собирается с телохранителями на прогулку.

В лавках самых уважаемых купцов нечто вроде клуба. Собираются купцы, мелкие чиновники, читают вслух Гератскую газету «Единение Ислама», которая извещает о том, что в Америке выстроили сорокатынжанный дом, что его величество на охоте застрелил небывалое количество дичи и послал эту дичь в подарок иностранному послу и что в Сабзеваре родился шестиголовый жеребенок.

Местные политики не прочь поспорить и с проезжим бухарцем или с тюрком из Советского Азербейджана на тему о том, чего хотят большевики и почему победили меньшевики. Все русские контр-революционеры местными политиками определяются как «меньшевики». Есть победители—большевики и побежденные—меньшевики, и никаких других группировок.

«Победили большевики и кончилось все не прославлением ли вашего высокого оружия и высокой доблести», как писал местный хитроумный и весьма образованный с восточной точки зрения мулла. Вообще афганская журналистика пока еще представляет ряд неисчерпаемых курьезов. В одном из номеров газеты была помещена хвалебная статья по поводу обнаружения в казначействе лишнего денег, незаписанных

в книги. То, что указывало по афганским понятиям на сугубую честность кассира,—повергло бы в смущение европейского бухгалтеря.

Здесь купец сам по себе любопытный предмет наблюдения. Торговое ремесло переходило из рода в род и выработало своеобразный тип торговца, посредника, менялы. Купеческая аристократия держит себя с достоинством и даже некоторой независимостью. Ее приглашают на дурбары, калантары (старшина) купцов—одно из первых лиц в городе. Это обыкновенно почтенный, заплывший жиром старик, владеющий караван-сараями, посылающий караваны в Индию и Сеистан. У него один из лучших домов в городе, загородный сад, где он иногда принимает даже самого наместника. У него есть несколько лавок на базаре, где, разумеется, торгуют его родственники. В старое время зачастую наместник или крупные чиновники принимали участие в сделках крупных купцов.

В центре базара, под куполом, место, называемое «Чаар-Сун», где объявляются распоряжения правительства и где происходят по средам казни преступников. Казни—бытовое явление в провинции—требуют некоторого пояснения и подробностей. Хотя по конституции, по основному закону управления страной, казни и пытки отменяются, тем не менее даже специально назначенные для проведения реформ из Кабула министры действуют по старым, испытанным, вековым методам.

Народ относится к казни как к обыкновенному зрелищу, к скачкам, к въезду в город высокой особы. Надо сказать, что не меньше внимания уделяется обыкновенному европейцу, который собирает вокруг себя десятки любопытных, следующих за ним шаг за шагом. Узенькой улочкой можно выйти в «Чаар-баг».

Это и дворец правителя провинции, и административный центр, и место официальных празднеств и приемов. Это единственное место, к которому можно подъехать и в экипаже, по единственной во всем городе улочке, допускающей колесное движение. На одном из глиняных домов вывеска на трех языках: «Почта»—признаки грядущей цивилизации. Крутой поворот бешеных непривычных к экипажу лошадей, оставившись у незаметных ворот, где стоит часовая, одетый в странную форму, состоящую из английского френча-хаки и обычных широких белых афганских штанов—«патлун кандагарии», в туфлях на босу ногу. Мимо конюшни правителя, где собраны великолепные образцы лошадей, среди которых есть и кровные арабские, проходят во внутренний двор. Большое двухэтажное здание в виде буквы «П», причем большая часть его новейшей постройки отведена под длинный зал для дурбаров (торжественных приемов), меньшая часть под канцелярию и дом правителя. И канцелярия, и дом правителя выкрашены в резкую красную краску с белым лепным примитивным орнаментом.

Внутренний дворик дома—резные столбы и весь фасад бело-зеленый с теми же лепными орнаментами. Весь второй этаж—комнаты наместника. В большой комнате—зале пианино, ковры (европейские ковры), плюшевая и камышевая мебель, которая здесь считается редкостью и которая у нас обнаруживает самый дурной вкус.

Внизу в канцеляриях столы и стулья—настоящие орудия пытки для чиновников, привыкших в течение всей жизни писать, придерживая бумагу на весу и сидеть поджав под себя ноги. За канцелярией открытая веранда с садовой белой мебелью. Здесь по утрам на возвышении правитель принимает просителей, здесь выносятся и утверждаются приговоры и отсюда осужденных отправляют на смерть.

Теперь правитель разбирает дела в европейского покроя белом мундире, а еще недавно, когда правителем провинции был восьмидесятилетний дед эмира, все было значительно проще, колоритнее и типичнее для Афганистана.

Старый правитель сидел на ковре, окруженный челядью, в традиционной афганской рубашке—«пейран», в маленькой чалме, босой, пил маленькими глотками чай и покрывал на напирющую толпу, которую отгоняли от него солдаты. Он выносил самые оригинальные решения, устраивал своеобразные Соломоновы судилища, принимал европейцев, ничуть не меняя своих привычек и не стесняя себя их присутствием. После смертного приговора разбойнику, который чистил этого благодушно попивающего чай старика самыми позорными для мусульманина словами, он распоряжался прибить гвоздем ухо продавца, уличенного в мошенничестве к дверям лавки, затем дарил яблоко любопытствующему мальчишке, потом приказал повесить двух ручных волков, задушивших его любимых кур, потом показывал европейцам лошадей, затем ровно в полдень после пушки отправился обедать и спать на свою половину. Приблизительно так же в еде и сне проводила время его многочисленная челядь,

секретари, назирь — нечто среднее между адъютантами и старшими лакеями.

Провинцией собственно говоря управлял его секретарь, мулла, хитрый, скрытный и довольно независимый от правителя взяточник.

Но с приездом из Кабула миссии по проведению реформ все пошло по другому. Молодые афганские чиновники, правда, ели и спали не меньше, но ездили на прогулку верхом кругом города, занимались футболом, спортом и охотой к полному недоумению изумленной этими новшествами провинции.

Секретарь старого правителя сначала попал в немилость и очутился где-то на задворках дворца, но потом, постепенно, стал выдвигаться, так как в сущности только он один понимал нехитрую механику деспотического управления провинцией.

Но реформы не остались пустым звуком. Наивные новшества вроде придуманной для метельщиков улиц (такие, оказывается, существуют) формы, появление на базаре, аккуртано через промежуток развешенных перенумерованных фонарей доставляли, повидимому, самое искреннее удовольствие реформаторам. Более серьезные меры были приняты в области «налоговой системы» и школы, той самой общественной школы, от которой всячески старался избавиться старый наместник.

Была объявлена особая мобилизация школьников, уличные мальчишки, до этого времени беззаботно кланчившие гроши у редких проезжающих европейцев, силой были приведены в школу и одеты в соответствующую форму.

И в день торжественного дурбара по случаю годовщины объявления независимости Афганистана одетые по форме школьники торжественно маршировали по двору под монотонное гудение афганских оркестров и пели афганский гимн.

Официальный, торжественный прием дипломатической миссии обыкновенно приурочивают к религиозному празднику, к концу Рамазана или к национальному празднику — годовщине объявления независимости. И в этом официальном торжестве особенно ярко запечатлен Афганистан дореформенной эпохи Абдурахмана и Хабибул-Хана и Афганистан современный, медленно воспринимавший реформы и все еще далекий от своего идеала — современной Турции. Но, оставляя в стороне соображения политические, надо сказать, что дореформенный быт был полон особого интереса и представлял точное воспроизведение бита мусульманской деспотии средних веков.

Начинался дурбар в десять часов утра и к этому времени во дворе за цепью солдат стояли тысячи любопытных, которые только издали видели то, что происходило в большом зале дурбара, и все-таки терпеливо стояли несколько часов в ужасающей тесноте, давке и пыли под палящим солнцем.

Длинный белый зал, сводчатый, несколько напоминающий театральное фойе, уставлен во всю длину тремя столами. Перпендикулярно к этим столам еще три стола, при чем перед центральным — высокое кресло для правителя. За длинными столами в торжественном молчании чинно сидят в центре офицеры, слева чиновники и справа местное именитое купечество. И в то время как купцы одеты в однообразные национальные, ослепительно белые одежды, чиновники и офицеры поражают непривычной для глаза пестротой самых разнообразных европейских мундиров всех армий, всех ведомств.

Ополеты, золотые жгуты, аксельбанты, шнуры прямо ослепляют под ярким южным солнцем. Военные еще одеты относительно однообразно в красные упраздненные английские мундиры эпохи королевы Виктории, которые за необходимость усиленно сбывались в Афганистан.

Несколько сот человек сидят в почтительном и торжественном молчании, изредка перешептываясь. Военный губернатор (командующий войсками) встречает у дверей иностранных представителей, которых усаживают за почетный стол по левую руку правителя против стола купечества. По правую руку тоже за отдельным столом сидит особо заслуженное духовенство и приближенные правителя. Еще небольшая пауза, особенно мучительная в нестерпимой жаре и духоте и оркестры одновременно загудели «салам» — встречу. Зал поднимается и в сопровождении пестрой свиты в зал входит толстый старичок в красно-золотом мундире и каске

с плюмажем. Начинается немного наивная церемония представления. Но старичок не выдерживает строго дипломатического тона, смеется, смешит, изумляет наивно-детскими вопросами и, наконец, усаживается в свое кресло. И с этой минуты почти мгновенно столы покрываются разнообразными бесчисленными блюдами, которые подаются одновременно. Преобладает, конечно, традиционный афганский плов, в котором афганская кухня кажется непревзойденной.

Он здесь не белый, а оранжевый от апельсиновых корок и, повидимому, повара правителя имеют весьма почтенную репутацию, потому что плов съедается в огромных количествах. Разумеется, едят руками и только для европейцев положены ножи и вилки. Пловом в сущности кончается дурбар, который длится, однако, не менее двух-трех часов.

После дурбара почетные гости проходят с наместником на балкон и здесь завершается дурбар некоторым развлечением для народа, как это понимает правитель. Наместнику подают таз с мелкой серебряной монетой и местными конфетами. Толпа прорывает цепь часовых и ловит бросаемые ей сверху монеты. Тысячи вытянутых рук, давка, драка, вопли сбиваемых с ног, все это должно, по мнению правителя, развлечь гостей и народ. Поднос опустошен, толпу оттесняют, а через неделю местная газетка, описывая высоким, причудливым слогом дурбар, мимоходом, в качестве довода в пользу особой пышности и торжественности зрелища, сообщает о том, что несколько человек погибли в давке по собственной неосторожности.

Реформы в провинции изменили самый характер дурбара даже с внешней стороны.

Чиновники и военные получили однообразную и довольно простую форму.

В толпу уже не бросают денег и весь дурбар проходит в торжественной напыщенности и молчании.

От города грунтовые дороги ведут в загородные сады-дворцы — предмет особой гордости афганцев.

За стенами города исчезает бесследно первое невыгодное для него впечатление. Отсюда город с его рисующими в голубом небе стенами и башнями гораздо красивее, чем вблизи. Долина, со всех сторон окруженная горными цепями, цветущая и зеленая — одно из редких красивых местностей страны. Зимой, когда снег лежит на горах, деревья и поля обнажены, несколько унылый вид искупается замечательной игрой красок на снежных вершинах среди ползущих облаков. Разбросанные у подножья гор сады и окруженные кедррами священные мавзолеи видны за несколько верст в чистом прозрачном воздухе. Особенно красиво расположена могила поэта из мусульманского духовного мистического ордена Суфий-Джамми и мечеть Казерга, где похоронен другой почитаемый маулеви (святой). Ограда и обелиск на могиле Джамми поражают искусной и редкой для этих мест обработкой камня. Здесь же находятся могилы почитаемых граждан Герата. Внутри ограды над бассейном растут высокие кедровые деревья и разведен небольшой сад. Этот несколько меланхолический красивый пейзаж, пожалуй, достойное место для могилы поэта.

В мечети Казерга поражает ее архитектура, стройность и соразмерность линий, наконец, тонкая обработка надгробного камня и высокого столба над могилой. Эта мечеть пользуется правом убежища, т. е. укрывшийся здесь преступник неприкосновенен, пока он находится здесь.

По дорогам тянется нагруженный сучьями и кустарником караван верблюдов, десятки груженных маленьких ослов...

Это напоминает средневековый город, как и все здесь напоминает нам средние века. Так же как волки подходили по ночам к городским стенам средневековых городов, так в Герате к городским стенам подходят по ночам шакалы и, визгливо захлебываясь, лают, причем лай их поразительно напоминает детский плач. А в загородных дачах через отверстия в стенах, окружающих сад, они проникают в самый сад, бегают по винограднику и приводят в ярость собак. В одну декабрьскую ночь в сторожевую будку караула, охраняющего дачу, вбежал волк и схватил за шею спящего солдата. Солдаты проснулись и убили волка топором и все происшествие не вызвало особенного шума. Приключение в порядке вещей.

Л. НИКУЛИН.

КРАСНАЯ НИВА



«В порту» Н. Хомов.

Издание «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 1929 г.

48

Советский Таджикистан

Очерк В. Соловьева



На юго-востоке Средней Азии, по долинам и горным расцелинам Памира, в районе бывшей Восточной Бухары, создался и окреп Советский Таджикистан.

Территория его граничит на севере и западе с Узбекской республикой, на северо-востоке — с Киргизстаном, на востоке — с Западным Китаем и на юге — с Афганистаном. Площадь территории достигает 150 тысяч кв. километров, а количество населения равно примерно 1 миллиону человек.

В процентном отношении население делится на следующие группы: таджиков и др. иранцев — 65 проц., узбеков, туркмен, кара-киргиз и др. турков — 32 проц., арабов и туземных евреев — 1,5 проц. и остальных (русских, индусов, афганцев и др.) — 1,5 проц.

Коренное население Таджикистана, таджики, принадлежит к иранской группе народов и впервые в истории упоминается в III веке нашей эры. Таджикский язык является одним из древних, сохранившихся в наибольшей чистоте наречий персидского языка. Арабская азбука, которой таджики пользовались до сих пор, заменена повотаджикским (латинизированным) алфавитом, выработанным на строго научных основах специальной конференцией по латинизации таджикского алфавита, при участии известного ираниста-лингвиста профессора ленинградского университета А. Фреймана.

Таджикистан — типичная горная страна, в которой небольшие равнины расположены только по течению рек, являющихся большей частью притоками мощной среднеазиатской артерии Аму-Дарьи. Горы Таджикистана принадлежат к Памиро-Алайской системе, постепенно снижающейся к западу, и представляют громадные хребты с вершинами свыше 5.000 метров, покрытыми обледенелыми гребнями и ледниками. Подземные процессы горообразования еще далеко не закончены, и этим объясняются частые землетрясения, которые в Средней Азии — бытовое явление.

Климат основных районов Таджикистана — Дюшамбе, Куляба, Курган-Тюбе, Ура-Тюбе и Ходжента — определяется средней годовой температурой воздуха в

+12° при средней температуре в январе — 3° и в июле + 27°. Особенно богаты осадками весенние месяцы, осень более сухая. На Памире наблюдаются резкие колебания температуры: от — 46° до + 30°, и разница между крайними температурами достигает таким образом почти 80 градусов.

Растительность Таджикистана очень богата и разнообразна, но далеко не исследована. Посевы хлопка и риса возможны только в районах орошаемой культуры, по долинам многочисленных рек и низких предгорий.

Также интересен животный мир Таджикистана, но он мало изучен и ждет своих исследователей.

Недавно закончено сооружение железной дороги от Термеза до Дюшамбе, соединившей столицу Таджикистана с остальной рельсовой сетью Советского Союза. Большинство остальных путей сообщения представляют горные тропы, доступные только для вьючных животных. Регулярную воздушную, почтовую и пассажирскую связь с Дюшамбе поддерживают самолеты «Добролета», совершающие рейсы из Ташкента через Самарканд и Термез.

Незабываемую по красоте картину представляет Таджикистан из окна кабины самолета. После равнинных просторов между Ташкентом и Самаркандом, после песков правого берега Аму-Дарьи вплоть до Термеза, самолет начинает приближаться к горным массивам Таджикистана. Внизу узкой полоской вьется Сурхан-Дарья, справа весь далекий горизонт растет и теряется в горных вершинах. Пятна кишлаков и квадраты хлопковых полей ковровым узором расцвечивают берега рек и горных притоков.

Но вот и Дюшамбе. Самолет делает круг над городом. Огромное, вновь выстроенное

здание правительства. Белый четырехугольник Дома Дехканнина. Блестят дома отдельных наркоматов. А еще пять лет не прошло, как здесь шла гражданская война, нынешняя столица представляла груды развалин и случайно уцелевших глинобитных строений. Сейчас города нельзя узнать, он строится бурно и прочно, становясь центром культурного, политического и экономического тяготения всего советского Таджикистана. Теперь это уже не старый эмирский полукишлак Дюшамбе, а новый советский город Сталинабад, как в честь генерального секретаря ЦК ВКП(б), в честь коммунистической партии решил назвать свою столицу чрезвычайный съезд советов Таджикистана.

Съезд советов заседал с 15 по 19 октября, и он войдет в историю Таджикистана. На нем были подведены первые итоги мирного хозяйственного и культурного строительства, намечены пути дальнейшего развития в целях превращения республики в одну из основных баз хлопководства, приняты решения по перестройке дехканского хозяйства на новых, социалистических началах. Для характеристики темпа строительства достаточно сослаться на цифры, приведенные в докладе председателя ЦИК т. Нафатулла Максума: только за последние три года создано 132 колхоза, при чем количество их в текущем году предполагается довести до 400; в кооперацию вовлечено около 100 тыс. дехканских хозяйств; более 10 млн. рублей вложено в дорожное строительство; в то время как до войны собралось не более 25.000 тонн хлопка, — в этом году на хлопковых заводах Таджикистана перерабатывается немногим меньше 50.000 тонн хлопка; в целом сельское хозяйство не только восстановлено, но по основным отраслям — по хлопку, шелку и животноводству — довоенный уровень значительно превышен.

Эти успехи дают уверенность в дальнейшем развитии народного хозяйства, и не бахвальством, а серьезным и продуманным обязательством прозвучали слова председателя совнаркома тов. Ходжибаева, что «Таджикистан, это — советская Америка».

Совершенно естественно поэтому, что молодая окрепшая республика, освободившаяся от гнета бухарского эмира, расправившаяся при помощи Красной армии с басмачеством, начавшая успешно строить свою советскую экономику и культуру, пожелала непосредственно войти в Союз Советских Социалистических Республик.

Требование самостоятельной республики шло из самых отдаленных кишлаков, и чрезвычайный съезд советов Таджикистана только оформил его. Огненные Таджикистан верховной волей таджикского народа из автономной республики преобразован в Таджикскую Социалистическую Советскую Республику, которая войдет равноправным членом в СССР.

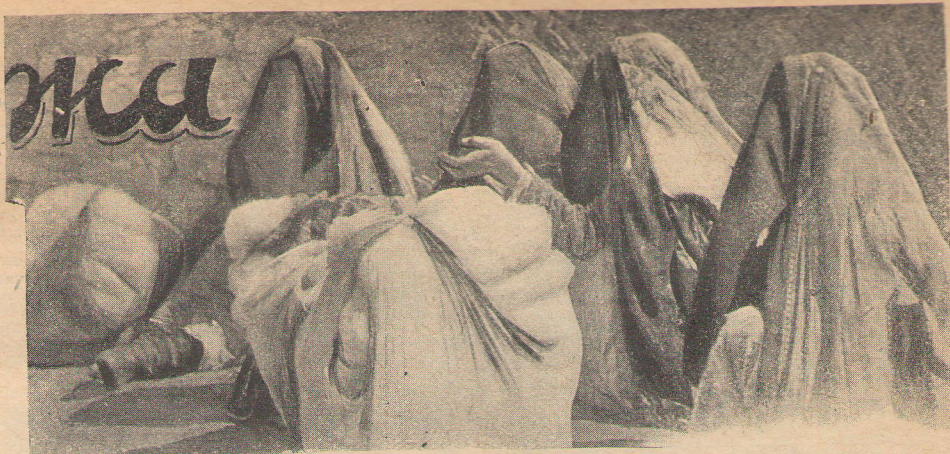


В горах Таджикистана

Паранджа

А. Аграновский

«На это заседание съезда совета пришли тысячи женщин и девушек—учащихся города с требованием об издании декрета о снятии паранджи». (Из самаркандской газеты).



ЭТО была наглая ложь. Я присутствовал на всех заседаниях с момента открытия съезда советов до часа его закрытия, но того, что сообщает газета, не видел. Было другое: в первый день работы съезда в торжественной части на трибуну поднялась работница-узбечка, приветствовала делегатов, привела несколько горьких примеров тяжелой участи узбекской женщины и высказала пожелание о скорейшем осуществлении лозунга советской власти насчет раскрепощения женщин. Вот все, что было сказано. Никаких «тысяч», никаких требований, да и вообще с каких это пор в Бухаре объявились в учебных заведениях «тысячи женщин и девушек»?

Газетная заметка произвела гнетущее впечатление. Обидно было за газету, за автора. Зачем выдумывать, лгать, зачем срамить себя всенародно?

На смену первому настроению пришло соображение более серьезного порядка. Ведь вот так создается общественное мнение. Сегодня «требуют» декрета о снятии паранджи бухарские «тысячи», завтра потребуют этого ферганские женщины и девушки, а там пойдут миллионы. Прочтут об этом в Ташкенте, в Москве и впрямь решат, что таково единодушное требование всех женщин Узбекистана. Но так ли это? Действительно ли назрел вопрос о декрете? Действительно ли настал момент, когда правительство должно административным путем объявить паранджу вне закона? Или, быть может, узбекской женщине должна быть оказана совсем иная помощь, и общественное внимание должно быть мобилизовано для осуществления совсем иных чаяний узбекской женщины?

В течение полуторамесячного путешествия по Средней Азии я был неоднократно осаждаем женотделами различных городов, которые настаивали на издании декрета против паранджи. И в Бухаре, и в Фергане, и в Андижане меня засыпали самыми жуткими фактами из области преследования женщин, которые в основном сводились к тому, что будет декрет—будет раскрепощена женщина, не будет декрета—революция в опасности. А между тем все жуткие факты, которые приводились женработниками, меньше всего говорили за спасительный декрет. Но таково единодушное мнение женотделов, «так проходит слава по миру», так создается общественное мнение, и в этом году к годовщине женского дня, наперед можно сказать, опять появятся статьи за декрет, призывы, резолюции «тысяч женщин и девушек», снова будет истерика, и снова общественное внимание будет отвлекаться от истинных, неотложных задач, стоящих на пути действительного раскрепощения женщины Ближнего Востока.

* * *

Весь вопрос в правильном анализе происходящих сейчас в Узбекистане процессов борьбы за паранджу и против нее.

Когда я узнаю, что в селе Куг'яр, Инги-

Курганского района. Коримбаев Курсан убил свою жену Адаместан за то, что та отказалась жить с ним и потребовала развода, я говорю: Курсан Коримбаев не против паранджи. Он деспот, и вне зависимости от того, будет ли издан декрет или не будет издан, до тех пор, пока мы не перевоспитаем подобных извергов и деспотов, они будут издеваться над женщиной.

Я открываю сводку андижанского прокурора о движении дел, «связанных с раскрепощением» женщин, и читаю:

«В селении Мундус Ибрагим Умарбеков предложил своей жене Джасибе переехать на новое местожительство. Когда та отказалась, он ударом ножа убил ее».

«Хасанбай Мурзакаримов нанес своей жене Кумрехан четыре ножевые раны за то, что она несвоевременно приготовила ему чай».

Сводка длинная, в ней приводится десятка два аналогичных «дел». Но опять-таки, по мере того, как я вчитываюсь в материал, все яснее и яснее становится, что вопрос не в декрете о снятии паранджи, в приведенных примерах не упомянуто даже слово «паранджа», возможно, что Кумрехан, несвоевременно приготовившая чай Хасанбаю, вполне правозверная мусульманка и активная сторонница паранджи. Почему же эта история попала в сводку прокурора о делах, «связанных с раскрепощением»?

Убийство женщины из-за несвоевременно приготовленного чая и из-за того, что она сняла паранджу, конечно, явления одного порядка. И то и другое говорит за то, что женщина—раба мужчины, что она ни во что не ценится. Но следует ли отсюда, что декретом можно решить этот вековой вопрос, что достаточно издание декрета об обязательном снятии паранджи, чтобы женщины сразу воспрянула, мужчал моментально ниц, а женотдел и все мы, вместе взятые, считали бы себя свободными от систематической углубленной работы по перевоспитанию аула и кишлака?

В Бухаре узбек облил себя керосином и сжег себя всенародно из-за того, что обе его жены раскрылись. Вы чувствуете силу протеста? В Андижанском округе в одном селе группа узбеков отрубила голову раскрытой женщине и, как футбольным мячом, играла головой на глазах у односельчан. В третьем месте раскрытая женщина, спасаясь от преследовавшего ее мужа, стучалась во все двери, но ни один сосед не впустил несчастную в дом. Она была зарублена в присутствии десятка мужчин и женщин.

И вот такому варварству, для определения силы которого не подберешь подходящего эпитета, пытаются противопоставить декрет. Женщина в праве будет заявить мужу: не я сняла паранджу, меня заставил декрет... Ах, декрет?—переспросит муж, тогда прошу извинения. Больше не буду мучить тебя, издеваться и резать

О, наивность!

Сию же на бухарском съезде советов, на том самом, который приветствовали «тысячи женщин и девушек», «требуя» издания декрета, и внимательно вслушиваясь в речи делегатов. Я не понимаю узбекского языка, но по горячим глазам, по страстной жестикуляции догадываюсь, что товарищи говорят об очень серьезных обидах. С нетерпением жду перевода.

«Обращаю также внимание съезда на то, что у нас совершенно отсутствуют клубы и школы, что в период раскрепощения женщины совершенно недопустимо, ибо она лишена возможности проявить активность».

«В 1926 году была проведена земельная реформа. При разделении земли была также привлечена женщина. Землю ей дали, но кредита и другой соответствующей поддержки не дали, и она вынуждена была отдавать свою землю в аренду баям. Из этого видно, что сельское хозяйство, которое поручено было женщине, не может обойтись без государственной помощи».

«Райисполкомы и сельсоветы совершенно не втягивают раскрытых женщин в общественную работу, и женщина стоит в стороне от всякой культурной и общественной жизни».

«Наши женщины из-за недостатка общественной помощи зачастую идут на улицу и развивают проституцию. Наша женщина абсолютно неграмотна, некультурна, и поэтому снятие паранджи далеко еще не есть раскрепощение женщины».

А в частной беседе одна делегатка-коммунистка, председатель крупного сельсовета (узбечка), сказала еще яснее:

— У нас есть женщины, которые повешили нашему лозунгу, сняли паранджу и... воюют сейчас с мужьями. Были бы они самостоятельными, учились бы ремеслу, грамоте, шли бы к светлому пути т. Ленина, они бы выиграли борьбу с мужьями. Но, дорогие товарищи, поддержки нет, женщина одинока в борьбе, проходит месяц, другой, от лозунга ничего не остается, и опять приходится одеть паранджу, и только сняков на теле прибавляется новых много...

Беру цифру. Из бюджета узбекского Наркомпроса на женское образование отпущено было в прошлом году всего 4 проц. И это при стихийной тяге узбекской женщины к учебе и раскрепощению! Какой декрет о снятии паранджи, архистрого проведённый в жизнь, с самыми тяжкими карательными санкциями за противодействие, сумеет при таком положении удерживать раскрывшуюся женщину на ее новых позициях (в борьбе с мужем), если она весь свой век вынуждена прожить в невежестве, если даже грамоту не дают ей изучать!

Советское законодательство в защиту женщин и в частности в защиту восточной женщины—лучшее в мире. Это признано

всеми. Никогда в истории человечества женщина не была поставлена на такую высоту перед законом и в обществе, как это нам удалось осуществить сейчас. Весь вопрос только в умелом и полном применении наших законов на практике, весь вопрос в мобилизации сочувствия к этим законам со стороны широчайших масс трудящихся.

Но вот я узнаю, что ответственный работник и член ЦИК Узбекистана, член партии, некий Касим Хаджаев сам активно агитирует против раскрепощения женщины. Заодно и против латинизации узбекского письма, ибо латинское «т» похоже на крест, а христианство несовместимо с магометанством. Повод присмотреться ближе к вопросу о «сочувствии широчайших масс» более чем подходящий. Изучая проблему, обнаруживаю:

Бывший начальник уголовного розыска, работающий сейчас в окружном земотделе в Бухаре, некий Азимов, изнасилывал в 1925 году трех девушек. Судом вынесен приговор, что «в силу малограмотности» обвиняемого наказание выносится ему условно. В 1926 г. Верховный суд отменил приговор, но дело затануло до 1929 года, а сейчас оно прекращено за давностью.

За 1928 г. по Андижанскому округу не прошло через суд ни одного дела о калыме, о выдаче замуж малолетних, о многоженстве. По Сурхан-Дарьинскому округу из рассмотренных за целый 1928 г. 111 «бытовых» дел (их называют бытовыми, а не мешало бы называть яснее: уголовно-бытовыми) 89 прекращено, а обвиняемые по остальным делам (развращение малолетних, купля женщин), кроме четырех обвиняемых, оправданы.

Обследование загса Старой Бухары показало, что за 1928 год гузарными комиссиями (участковыми сельсоветами) выдано девушкам 169 фиктивных удостоверений о совершеннолетии. Горсовет знал об этом, но не принял мер.

Вот вам и «сочувствие широчайших масс». Обнаружены случаи, когда в загс являлись «невесты» с куклами. Когда такую невесту спрашивали для формы, согласна ли она выйти замуж, ответ раздавался из-под стола, хотя роста невеста была нормального: жених надевал на невесту высокий колпак и всю ее закрывал паранджей.

Значит, дело не только в законе, не только в декретах, а в коренной ломке тысячелетних традиций и варварских обычаев. Дело в перевоспитании хотя бы передовых отрядов, но в том-то вопрос, что даже в среде передовых отрядов далеко не выкорчеваны наследия прошлого.

Директор Ферганского педтехникума (коммунист) за два дня до женитьбы говорил приятелю, что «кажется», женится на Шакаровой. «Ну, как?—спросил его приятель через несколько дней,—женится?» «Да,—ответил директор педтехникума,—но не на Шакаровой. Товарищи другую посоветовали».

В Фергане исключили девушку-ученицу из комсомола за то, что она осмелилась взять у другого комсомольца учащегося несколько орехов. Это было расценено как разложение, развод.

Директорская женитьба и история с орехами—явления одного порядка: узбекская женщина еще не завоевала у мужчины должного к себе отношения. Член партии Тимур-Нажим, сотрудник газеты «Таджики», имел жену европейку и живя с ней вполне «законно», одновременно платил калым гиджуванскому мулле за его дочку. Недавно Тимур-Нажим женился на этой девочке, которой было от роду 13 лет, жене-европейке сказал: «Эта женитьба мне выгодна, так как выплаченный калым составляет большое состояние».

Мне говорили, что один активист-батрак

на вопрос, что он сделал бы, если бы он заработал много денег, ответил, не задумываясь: «Если бы имел много денег, купил бы красивую жену, сокола и нанял бы малая». Допустим, что это анекдот. Но далеко ли ушел приведенный анекдот от жизни, от покупки журналистом-коммунистом 13-летней девочки у мульты?

Селькор обращается в газету «Кзил Узбекистан» с вопросом: «Старик-отец пришел с топором к заведующему кооперативом отомстить ему за позор дочери, с которой сошелся заведующий кооперативом. Кооператор убил старика выстрелом из револьвера. Кто виноват? Барышня, любовник или отец?» И вот запрос селькора передается газетой для «разрешения»... в коллегия защитников.

Надо ломать быт. Вот единственный вывод, который напрашивается, и конечно, не декретом и не путем издания обязательных постановлений. К сожалению, это не всем ясно. В Янги-Курганском районе сагитированный отряд пионеров напал на арбу, в которой ехало несколько закрытых женщин, и с шумом и гиком сорвал со всех паранджу. В селении Асаке женщина-милиционер (узбечка) и зав. женотделом срывают на улице паранджу у проходящих женщин. Куда это годится?

В ряде мест Узбекистана «активная» борьба с паранджей оказалась понятой крайне превратно. Население решило, что речь идет о парандже и чачване, как таковых, и женщины стали заменять паранджу и чачван сатиновыми вуалями «яхтай» и большими платками. Вот как можно извратить идею подлинного раскрепощения!

Проблема разводов—особая тема. В последнее время количество разводов настолько выросло, что превратилось в большое бытовое явление. Но напрасно мы стали бы пытаться у лиц, коим этим ведать надлежит, о причинах этого явления. Никто ничего не знает, никто этим вопросом не интересуется. В лучшем случае представят ничего не говорящие цифры. А между тем правильный анализ причин массовых разводов внес бы большую ясность в методы дальнейшей борьбы за раскрепощенную женщину.

Почему жены стали уходить от мужей? Есть «теория»—ее охотно распространяют,—что разводы происходят на половой почве. Возможно, что в этом есть доля правды? Но неужели этой убогой теорией исчерпывается весь вопрос? А где процессы расщепления семьи на почве политической борьбы, на почве борьбы женщины за самостоятельность, наконец, на почве классовой борьбы (покупка баями бедняцких дочерей)?

Мне известен случай иного развода. Фатима Азимова, женщина преклонных лет, вдруг сбросила паранджу. 40 лет носила паранджу, была правдивой мусульманкой, народила множество детей, ходила дважды с мужем в Мекку и вдруг — или разреши снять паранджу или дай развод.

Фатима Азимова, 40 лет не снимавшая паранджи, оказалась... Ксений Ивановной Барановской. Дочь сахалинского ссыльного, она 10-летней девочкой была продана за водку нынешнему мужу, отбывавшему там за какое-то преступление наказание. С тех пор прошло много лет. Ксения забыла и родителей, и родину, и язык свой, даже лицом стала узбечкой, и вдруг... Вот это-то «друг» остается неизученным нашими женотделами, которые регистрируют разводы, но не пытаются углубиться в их причины.

В Асаке я специально интересовался в загсе вопросом о разводах. Оказалось, что заведующая загсом, активная партийка, когда к ней являются регистрировать развод, считает «невозможным» выяснять причины развода. Это дело частное. Загс не в праве вмешиваться.

Декрет, декрет! — вопит на собраниях «активистки». — Освободите женщину от конской вуали, раскрепостите женщину-узбечку! А сами не пытаются даже изучить такого простого, но вместе с тем первостепенной важности вопроса, имеющего прямое отношение к декрету, как вопрос о происхождении разводов, вопрос о характере наступившей ломки быта.

* * *

День за днем узбекская женщина отвоевывает все больше и больше прав на участие вместе со всеми в грандиозной перестройке и стройке народного хозяйства своей страны. Мы можем похвастать и без декрета исключительными завоеваниями в этой области. Но все это дается не легко, это стоит многих десятков и сотен женских жизней, это сопряжено с мучительной неравной борьбой, ибо на стороне женщины почти-что только «голый» закон, на стороне мужчины — кулак-бай, тысячелетние традиции, темнота, невежество, косность общественности, а иногда прямое сочувствие известной части советского аппарата и даже членов партии средневековым навыкам и взглядам. Значит вопрос не в декрете.

Когда женщину убивает озверелый муж-собственник, бороться с преступником трудно. Наш суд не падит убийц. Гораздо труднее предупредить убийство, создать такое настроение в обществе, при котором невозможны были бы зверские расправы с женщиной. Декрет о парандже не только не явился бы спасительным средством, ибо он вызвал бы еще большую ярость и без того обозленных наших классовых врагов, совершенно правильно расценивающих борьбу с паранджей, как борьбу с ними в первую очередь, но, что особенно важно, он отвлек бы нас от истинных задач, стоящих перед нами в борьбе за раскрепощенную женщину.

Решение вопроса не в декрете, а в вовлечении раскрывшихся уже женщин и тех, которые еще закрыты, в активную общественную жизнь, в классовую борьбу с байством, в учебу. Надо научить женщину грамоте и ремеслам. Решение вопроса не в декларативных законоположениях, а в превращении забытых узбечек в самостоятельных, сознательных и активных участниц строительства. («Обращаю внимание съезда, что у нас совершенно отсутствуют клубы и школы!..») А это можно будет провести в жизнь только тогда, когда удар будет перенесен на подлинное перевоспитание масс и на решительную борьбу с теми, кто, сидя в нашем аппарате и прикрываясь советской маской, искажает наше законодательство, искажает установку партии на раскрепощение женщины. Нельзя сколько-нибудь серьезно ставить большой вопрос об объявлении паранджи вне закона, когда в Бухаре на глазах у всех наша советская кооперация закрывает единственную женскую лавку, так как она «невыгодна»: мужчина покупает товар раз — два, а женщина час выбирает. Мы не сумели еще научить женщину в лавку ходить, а мужчин — отпускать им метр бумажен, где нам до «вопроса в целом»!

И пусть меня простят горячие сторонники немедленного издания декрета, но эта страстная тяга к декрету производит впечатление, что его сторонники хотят прикрыть им свою слабость. Вместо борьбы — настоящей, серьезной, систематической, длительной — за новый быт и коммунистическое общество, вместо вовлечения в эту борьбу широчайших масс трудящихся, и в первую очередь батрачества и бедноты, они хотят одним росчерком пера решить все больные вопросы.

Декрет об обязательном снятии паранджи нужен, но надо подготовить почву для него, чтобы он не превратился в фикцию.

КРАСНАЯ НИВА - №7



РАССКАЗ О КОЛОДЦАХ

П. Павленко

ЧОПТ возьми, сегодня мы едем в пустыню! — вдруг вспомнив, говорю я и радостно просыпаюсь от крепкого и томного сна.

Ночь, и за шерстяным пологом кибитки чувствуется холодный и мокрый ветерок капризного весеннего рассвета.

Лай собак носится в воздухе заблудившимся и неспадаящим эхом, звонко вздрагивают проснувшиеся лошади, и беспокойная зевота одолевает спящих рядом со мной в кибитке спутников.

Я не чувствую никакой усталости, хотя спал недолго и больше ловил в памяти заблудившуюся мысль о походе, чем по-настоящему пребывал в рассеянном сонном покое. Всею ночью, беспокоя меня навязчивым сновидением и заставляя ворочаться с боку на бок, полуспящего сознания моего касалась какая-то важная мысль. Теперь я владею ею, и чувство прекрасного покоя и свежести наполняет меня быстрым, движущимся по телу теплом.

Я проснулся частями, медленно следуя ходу рассвета. Сначала проснулось изнутри голова, мозг, потянувшись, включил себя в сеть возникающих раздражений и поймал мысль, тревожащую его во сне. Вслед за мозгом проснулся слух, и, еще ничего не видя, и уже знал, что за кибиткой бродит туман, что ветер пробегает по неукрытым и озябшим лошадям, заставляя их вздрагивать с шумом, напоминающим бег гардины на кольцах, раздвинутой резким движением. Потом проснулись глаза. За ними, щекая мускулы, стало жинно просыпаться тело. Волнуемая снаружи ветром, как дряхлая взволнованная овца, выдыхала своими боками кибитка. Зола очага металась из стороны в сторону, напоминала стайку испуганных насекомых, и не впопыхах же умок в темном углу комар.

Эхо собачьего лая, часами носившееся в ночной темноте, исчезло. Собаки приблизились к кибитке и сосредоточенно обнюхивали ее, как бы спрашивая, скоро ли проснутся хозяева. Как-то будут их распоряжения на день и не предвидится ли каких-нибудь неожиданных новостей. Я протянул руку и тихо разбудил своего товарища — секретаря соседнего аулсоветов. Осторожность, с которой я коснулся его, отразилась в нем призывом к осторожному пробуждению, сигналом к бдительности, и он мгновенно оказался сидящим на кошке, готовый встать и броситься в драку, и глаза его следили за моей рукой, которая одна могла сказать, куда надлежит ему обратиться. Было необдуманно будить уставшего человека, и я не знал, что ему сказать в свое оправдание. Но, должно быть, он расценил мое молчание как растерянность европейца, и сам обратился в слух.

Быстрый оранжевый свет на глазах приближался к нам сквозь кошмы кибитки. Он двигался так быстро, как может двигаться нечто

от человека, и в такт шагам, явственно доносящимся снаружи. Кто-то шел и нес на себе огонь.

Мы встали, ползком добрались до выхода и окунулись в мягкий, блестящий воздух раннего утра, правящего красками еще лунного неба, сырых, полблескающих, как раскаленная зола в печке, псков и отражений зелени у далекого, волнистого горизонта.

Мы оглядели пески и увидели вереницу женщин, идущих с кувшинами дымящегося овечьего молока. Солнце двигалось их шагами.

— Откуда они? — спросил я.

Караван молочниц был необычен. Откуда действительно могли идти эти женщины в час, когда еще только проснулись псы, где же застала их ночь и куда шел их путь?

— С овец, — ответил мне товарищ, — т.е. с молока. — Он откашлялся и еще раз сказал, уточняя свои слова. — С хозяйства!

— Но почему же я не слышал, когда они входили из кибиток, готовили кувшины, строились толпой?

Мой товарищ пожал плечами и резонно сказал мне:

— Молоко теплое, пойдем, выпьем, согреемся. Мы пошли навстречу хозяйкам, и одна, ускорив шаг, приблизилась к нам, с радостной готовностью глядя в глаза. Ее лицо было измучено, и худые, синие руки, выпачканные молоком, уже дрожали от усталости. Она присела на корточки, мы сделали то же, и шопотом, отчетливым, как голос, но почти неслышимым, она спросила о чем-то моего спутника. Она вскочила и, пронесаясь красной тенью, — вся она была сверху донизу в красном, — исчезла за дальней кибиткой. Мы не успели ничего сказать друг другу, как она вернулась с двумя пиналами и налила их пахучим, с пузырьками молоком. Потом присела на корточки и, пока мы пили, она радостным шопотом что-то стала рассказывать моему спутнику. Женщина говорила, и товарищ пил все медленнее и медленнее. Когда он поставил пиналы на песок, она была еще наполовину полна. Прекращая шопот, товарищ мой вдруг произнес много слов тоном, который всюду, всегда, каким бы ни был язык, означает гнев. Голос его испугал что-то храп, сон каких-то людей притаился в соседней кибитке, женщина схватила свой кувшин и побежала, оглядываясь на нас.

— Что случилось? — спросил я. — Что вы сказали?

Он глядел в землю и механически, сам того не замечая, пощипывал пальцем в теплом медленно стекающем молоке.

— Объясните мне, что случилось? — приставал я.

Но он встал, крикнул в воздух, чтобы оседлали наших лошадей и, отшвырнув носком сапога пиналы с молоком, сказал мне коротко и любезно:

— Поедем, пожалуйста, я тебе потом расскажу.

Я отождал от кочевки с досадой и недоумением. День в пустыне начался для меня легким и праздничным, и изломать его было прощено обидно.

Когда мы потеряли из виду кочевку, мой товарищ сказал:

— У них, — вот в чем дело, — у них, брат, сегодня праздник. Да. Она так мне сама сказала, — большой праздник, гости придут из разных мест, родственники... Плов будут варить и бахши приедут неси петь.

— Ну смотри, пожалуйста, — сказал я, — до чего же ты вспыльчивый человек. Сколько времени я искал случая посмотреть на туркменской той (пир)! Эх ты, чужак-человек!

Солнце, выплеснутое в пустыню, уже жгло последний воздух утра. Наши лошади спытались о ползучие черепки черепак. В стороне глиняными кувшинчиками стояли у своих нор внимательные суслики. Они не подавали никакого признака жизни. Месяца через два, как выгорят последние травы, суслики и черепак, бездельно и терпеливо отбавляя свое короткое лето, начнут летнюю спячку. Они проспят горячие месяцы и проснутся осенью, в дожди, когда сквозь желтый пенел летних трав начнут пробиваться новые побеги.

По сусликам старики пределяют лето.

— Посмотри на них, — говорю я товарищу, — и скажи хоть, какая погода сегодня будет.

Мы выехали вчера из большого приамударинского кишлака проводить колодцы вокруг его летних пастбищ, в пески, где басмачила лет сорок тому назад Аму-Дарья и когда-то стоял своим шерстяным городом хивинец Тимур. Еще до сих пор богат водою колодец из трех шахт, каждая в форме овала, расположенных лепестком трилистника, т.е. тамгой, гербом Хромого. Еще до сих пор свежа и благополучна вода его. В двух часах верблюжьего хода есть другой, сделанный мастером Ибрагимом, который пользовался теперь человек Ашраф Ибрагимов. В верблюжьем получасе от него — других два, и опять того же мастера, имя которого давно уже стало именем пустынной воды.

Еще вечером в кишлаке сказал мне товарищ мой, что нужно смотреть колодцы как инженерию и в то же время как историю туркменской культуры, как бытовую базу и как платформу классовой, неповторимой в иных местах борьбы. И слов не передать, их не было, одним дыханием и жаром жестов, так, как итальянец о римском форуме или москвич о почти безымянном искусстве своей городской старины, он все перечувствовал передо мною, чтобы я понял колодезный период туркменской жизни.

Что история туркмена, гонимых хивинскими узбеками с севера, всегда шла на юг, к перховым азиатским рек, владея головами которых они могли бы повелевать Азией, что, бросив непоспевающую за конем цивилизацию, туркмены налегке, в кибитках, пробивали в песках дорогу колодезю, а передвигаясь, засыпали колодцы позади себя, чтобы обезопасить свой тыл пустыней. Что, осев, туркмены сделали колодцы своими первыми городами. Что искусство началось из тем о воде. Что мастера колодезев незаменимы. Их мастерство — цивилизация. О методах их работы он мог бы говорить мне расширенно так, как перс о своей религии, как турок о явлении природы, не знаясь никакой параллели.

Он готовился ввести меня в жизнь колодезев, как вводит в музей, объясняя не только его сокровища, но и самые стены дома, перечень событий, в нем происшедших, и биографии замечательных лиц, посетивших его. Именно так он начал мне историю Ашрафа Ибрагимова — хозяина колодца в форме тармы Тимура и Ата Гельды — хозяина трех соседних.

История этих людей коротка и поучительна. Она начинается с кую-уста Искандера. Когда Ашраф Ибрагимов, очистив Тимуров колодец и обложив края его жженым кирпичом, стал в силу вложения капитала — хозяином источника и выразил твердое желание получать аренду за водопой чужих стад, кую-уста Искандер обомлвился, что он был бы также не прочь получить плату за помощь ему в ремонте. Ашраф Ибрагимов однако отказал ему в этом, ссылаясь на то, что помощь была незначительна и что ему некогда. Тогда мастер поклялся, что он отобьет у Ибрагимова доходы с воды, захваченной жульнически, ибо нигде не сказано, что за воду из древних колодезев можно брать плату. Был колодец Тимура велик, чист и построен из привозного гранитного камня, и никто не поверил, что Искандер, не имея за душой ничего, кроме злобы, построит такой же.

Мастер был руками землю, говоря: «Земля свидетель — сделаю!»

Но один ему поверил — Ата Гельды — и, поверив, дал мастеру денег на расходы. Долго ли, коротко ли, но построил Искандер по соседству с Тимуровым три своих бедных и грустных колодца, обложенных изнутри ретками кандыма и обнесенных сверху высокими глиняными краями. Вода в них была правда грязной и солоноватой, но для овец это и надо, зато оказались колодцы дешевы, водообильны и просто построены, именно так, как надо строить в этих местах. Ата Гельды, давший деньги, стал их хозяином и нанес убыток соседу.

На том и кончается история двух конкурентов и начинается наша, потому что мы ехали наложить на них налог или произвести социализацию всех четырех источников.



Туркменка.

— Ты не ругай меня, — сказал товарищ, — у них той, но я не могу быть на таком тее. Много человек я оскорбил бы сегодня и себя не сдержал бы.

И он рассказал мне медленную историю о том, что здесь, в этих песках, нет ничего, что можно взять для завтрашней жизни, и она, завтрашняя, должна возникнуть ни на что непохожей, и о ней нельзя рассказывать вперед, потому что слова не определяют ее. Он говорил мне об этом с жаром горечи и обиды. Я смотрел на него. Мы были в пустыне одни, — на желтом фоне песков рябой, чернокрасный халат его светился, как радуга, а на сапогах, громоздких и одеревянных от многолетней грязи, песок натер шершавые, будто волосистые языки.

Такие, как он, ходили с Моисеем искать Хаанаанскую землю, завоевывали Аравию с Магометом и прошли вдоль и поперек Азии под началом Тимура. Рука его, которой он поощрял свои слова о завтрашней жизни, была рукой терпеливого человека. В старом халате, в незнающих погребенных сапогах он мог искать свою землю с суровою, трезвою упрямостью, с презрением ко времени, равнодушный ко всяческим испытаниям. В его жестях было такое, что потом, когда человек умирает, относят к истории, как характерный след своего века. И в то же время все в нем было от своего народа, старое, известное, из самой крови возникающее. Есть такие карты — Волга в веках, ее русла в X, в XII, в XX веках, так и он был мне не человеком, по картой туркменского бекляка во времени. Может быть, именно таким, в тех же самых рытвинах взлохмаченных сапогах был Магомет, когда он писал стихи, и так же крепко и верно поднимал к глазам руку настух, легендарный хан кара-кумской кншеты.

— А праздник у них сегодня женский, — сказал он мне, — и не вообще, а личный праздник той самой женщины, которая угощала нас молоком. У нас еще существует зверский обычай, запрещающий женщине разговаривать со старшими родственниками мужа. Со свекром женщина не имеет права разговаривать в продолжение всей своей жизни. Понял? В течение всей своей жизни! А свекровь и жены старших братьев дают свое разрешение по прошествии нескольких лет. Она (он имел в виду женщину с молоком) вчера получила такое разрешение от свекрови, на четвертый год жизни с мужем, и сегодня поэтому будет праздник у них, нарежут барана и всю ночь будут петь песни. Женщина, налив молока, попросила, чтобы я, коммунист, сказал речь на ее сегодняшнем празднике, потому что ежегодно я выступал со словом восьмого марта, и все думают, что я социалист по женственности.

— Как? — переспросил я.

— Я знаю, ты — большой человек, — сказала она, — и говоришь речи на празднике всех женщин. Сделай мне добро и скажи сегодня слово хорошего пожелания в мой радостный день.

— И, — он виновато поглядел на меня, — я, кажется, выругал ее. Что я скажу ей? Она, может быть, думает, что день восьмого марта это день тех, с которыми, как сегодня с ней, в первый раз заговорили свекрови? Ее праздник для меня, коммуниста, — позор. Я должен был отказать за кося ее свекровь и пообещать морду мужу, — вот какая была бы моя речь, товарищ!

Когда мы добрались до колодца Тимура, солнце уже буйствовало во-всю на пустом, как футбольная площадка, небе. Облака бежали от него за горизонт, валился друг через друга. Колодец был пуст. Не останавливаясь, чтобы не терять последних сил, мы направились к трем колодцам Искандера. Все они были также пусты. У третьего из них мы дали отдых лошадям и вскинулись себе чай из солончатой и мутной воды. Солнцешло теперь тише. Проскочив три четверти неба, оно сонно спускалось к серой черте запада. За ним осторожно вползали на небо легкие, подвижные тучки. Мы пили чай, напоминавший по вкусу прожаренный бульон, и обсуждали, куда бы могли превратиться Ашраф и Ата Гельды, два соседа и два конкурента. Нам куда было больше ехать, мы решили ждать утра и возвращаться хозяев воды, и наше время было легким, ленивым и сонным. Но едва лишь стемнело, мы услышали голоса людей и конский усталый дых. Бахши и его ученик, едущие на вечерней той, остановились, чтобы проверить у нас дорогу.

— Ехали бы с нами, — сказал бахши, — что тут сидеть? Они приглашали к себе всех, кто может прийти.

Мы откатились. Вскоре показалась новая группа всадников — почтенные шайбы из дачекого кншала на Аму.

— Гельды уже отправился? — спросили они. — Вы не отстали? Не знаете, проехал ли уже бахши или нет? Если Ашраф Ибрагимов там, бахши начнет, не подождав нас.

Когда они скрылись среди барханов, мой товарищ сказал:

— Вставай, поедем и мы.

— Передумал? — спросил я.

— Что передумал? Хочу посмотреть, что за той. Я еще не видел таких праздников, чтобы



Туркменки — ковровщицы

из-за семейного дела сзывали всех кулаков. Впрочем, что бы там ни было, вам-то сегодня как раз это наруку.

Мы вернулись в кочевку под песню. Она вела нас к кибиткам, как маяк, и мы слезли с своих лошадей никем незамеченные, прошли к толпе женщин и детей и увидели за ними Ашрафа Ибрагимова, Гельды и еще двух друзей колодезных кулаков на ковре, среди цыгов и мушкет. Они вели тихий, но страстный разговор анятером, не принимая участия в общем веселье.

— Мир вам, — сказал мой товарищ, — вот радость, что я вас всех сразу увидел. Целый день я искал тебя, Ашраф, и тебя, Гельды, и не мог найти. Хорошо, что вы отмечаете праздником отмену рабских обычаев в нашем быту. Давно пора забыть старые порядки, давно пора считать женщину равной себе и свободной. Привет тебе! — сказал он, кивая утренней женщине. — А к вам, уважаемые друзья, у меня короткое дело, пусть не омрачит оно нам дорогой праздник.

— Нет, нет! — сказали кулаки. — Что могут омрачить твои благородные речи?

— Исполком налагает на тебя, Ашраф, как на хозяина самого большого колодца, налог за эксплуатацию источника в сумме пятнадцати овец в год и столько же на тебя, Гельды, за три твоих источника. Размыслите, друзья мои, предложение исполкома и дайте мне позже свой ответ. Может быть, вы не согласны платить налог? Тогда скажем с радостью, как подобает в праздник, пусть будут колодцы достойным общим, а их вода — бесплатной для всех, как воздух. И во славу женщины, в радостный день которой мы обсудили это, назовем все четыре колодца ее почетным именем.

Бахши, поэт, давно дрожавший от мгновенного вдохновения, ударил по струнам дутара.

— Играй, — кричал ему мой товарищ, а мне тихо шепнул. — У нас говорят: соловей, у которого отнята роза, превращается в ворону. Посмотри на них.

Нам подали чашку с пловом. Мы сели среди дворов и стали слушать музыку.

У туркмен нет танца ни как искусства, ни как простого развлечения. Искусство — это песня и музыка, развлечение — борьба и скачки. Никто до сих пор не занимался объяснением, почему же не повзело у туркменов танцу, который в давнем почете у узбеков, принят на праздниках у казаков, которым афганцы пользуются как средством проверки темперамента и боевой гордости и который перешел культурируют как самое высшее из искусств. В Туркмени же никому не придет в голову производить ратмические телодвижения перед боем или в день религиозного праздника. В театральной школе Ашхабада туркменские девушки учатся танцевать с видом людей, любящих продолжаться до очевидности глупые и безнравственные движения. Они стараются производить их наиболее деревенно, скупо, замкнуто, краснея, когда хоть одно искреннее движение проскальзывает сквозь их плавную работу. Между тем туркмены любят песни и понимают и ценят музыку. Их музыка двухголосая, в то время как в Хиве, Бухаре и даже в Персии — одноголосая. Туркмены отно-

сятся к музыке, как испанцы к бою быков. Туркмены воспринимают музыку как нечто полемическое. Они наблюдают за мелодией, как шахматист за чужой партией. Они могут не соглашаться с мотивом, будут оспаривать удар руки по струнам или акцент эмоция, вложенный бахши в музыкальную фразу физиологически — не на струнах дутара, но на их собственных нервах оперирует мастер. Они плачут, смеются, вздрагивают или сидят зачарованные, чтобы вкочить в диком азарте, и, истекая нервным потом, долго и отчаянно радоваться музыке криками поощрения.

В этот момент для них ничего не существует, кроме собственного очарования. Здесь любят рассказывать исторический факт, перешедший в поэтический анекдот.

Когда женщина Хелей-бахши состязалась со знаменитым Кер-Кеджали, она была на последних днях беременности. Состязание началось с вечера, и в полночь Хелей-бахши почувствовала наступление родовых болей.

Она спросила мужа:

— Победы или ребенка?

— Победы, победы! — ответил тот.

Она вышла с состязания, родила, затем вернулась и посправила в игре знаменитого Кер-Кеджали.

Мы сидели среди вздохов, возгласов, причмокиваний. Кто-то ожесточенно скреб пионерной замшевую грудь, кто-то прищепкивал в такт мелодии пальцами.

Когда бахши кончил и смолк все одобрения, до нас долетел нервный шепот женщины, гурьбой сидевших в сторонке. Они говорили, что никогда еще ни у одной женщины не было такого удачного праздника и что интересно — будут ли названы колодцы просто Араватку или же личным именем — Еофа.

— Так-так, — сказал товарищ, — налога они платят, видно, не будут. Ну, да дело как раз не в этом, самое главное — нынче же все узнают, что за воду платить никому не следует. Делал план до станка, — сказал он, смеясь и поднимаясь к лошадям.

На утро мы завтракали овечьим сыром и чаем у старого чобана за много километров от завтрашней кочевки.

— Слышали новость? — спросил он нас. — Вчера был семейный той у одного из наших, и приехали двое из районов — не вы ли? — и объявили колодцы Ашрафа и Гельды свободными и назвали их именем женщины, в честь которой был праздник.

— Нет, это не мы, — сказал мой товарищ. — И чем же кончилось дело?

— Большой шум идет по кочевкам, — ответил чобан, — у кого в доме свекрови еще не разрешили невесток, онежат теперь, торжествуют праздники устроили, чтоб сыны приехали эти двое — остальные колодцы освободить. Шутка ли, у нас еще сорок колодезных хозяев осталось.

Он засмеялся, сдвинул шапку на лоб и, поглажив затылок, сказал:

— Вся жизнь беднота теперь на ногах. А на женщин даже смотреть страшно. Еще бы, каждой хочется, чтобы ее именем назвали колодец. И мужьям их тоже приятно. Прямой скачки!





РАССКАЗ О СТАРОЙ РОДИНЕ КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ И ЖИВОПИСИ

П. Павленко.

ПОЕЗД из Чарджуя в Ашхабад идет по жалкому паноптикуму нашей прародины. Не раз гладкие, лоснящиеся на солнце барханы разваливаются у самого полотна дороги, а пустынные травы, сдоеваемые ветром, завязывают свои корни вокруг шпал, чтобы не быть вырванными из почвы. Копая песок, здесь находят в корнях растений, как в когтях хищной птицы, куски железа и глиняные черепки. За них держится растение, как за якорь, опущенный в зыбкую сушь песков. Похожие на мираж, несомый небом, по горизонту проходят деревья далеких оазисов.

Со времени сказок Зенд-Авесты человечество ищет свою раннюю родину в древней Бактрии, в прикаспийских областях Окса, Аму-Дарьи, то-есть именно здесь, в полосе каракумских песков, — и вот по этой великой могиле не в одну сотню километров кружит поезд.

Памятником на кладбище нашей родины встает кирпичным курганом мечеть Аннау.

На тощих, издаലെка в песке незаметных травах бродят овечьи стада, дым паствующих костров из навоза и сухих веток зловонной лужей расходится в сухом, все запахи потерявшем воздухе, который изредка дребезжит от истошного человеческого запева. Это, перекликаясь песнями, поют подпаски.

В многохолмной навозной куче—Аннау—века копошатся, как куры. Мечеть, высокая среди курганов и стад, слишком одинока, чтобы казаться величественной. Ее рост подчеркивали бы кварталы большого города, она высилась бы тогда над ними, как оратор на плечах возмужденной толпы. Опираясь на окружающие дома, она заглядывала бы в улицы сверху, теперь же сама глядит чербатым куполом в небо, и рост ее теряется в воздухе.

Если верить археологии, отсюда многое началось. За четыре тысячи лет до нашей эры аннауляне сеяли ячмень и пшеницу, с мякину их примешивали к глине, из которой делали толстые приземистые горшки. Азиат, шедший на штурм плодородия Запада, принес с собой в Европу ячмень и пшеницу и привел собаку, коня и овцу. Щенята аннаулянских сук первые наши

собаки. Так утверждает археология. Она еще говорит, что четыре тысячи лет назад аннаулянки носили на шеях бусы из бирюзы, точно такие, как теперь болтаются на сбруях верблюдов из голубого стекла — з качества амулетов от дурного глаза, что дома Аннау были крыты соломой, как в Смоленском каком-нибудь округе, и что мясо в пищу шло очень мало, вероятно из соображений экспорта. Так утверждает археология о временах за четыре тысячи лет до наших дней, и она же разводит руками, откуда несколько сот лет назад появилась на ее территории мечеть Аннау — этот торжественный курган кирпича, лилий и фаянса, потому что о постройке мечети не говорят ни одни письменные источники, не упоминается нигде даже названия самого селения.

Пока пассажиры вагона провожают Аннау, прильнув к окнам, проводник посвящает впервые едущих в детали раскопок и высказывает суждение о старине в почтительно-ругательных выражениях.

В поезде всегда находится человек, который все знает. С пазойливостью агента по продаже юбилейных значков он домогается всеобщего внимания. Он обязательно хочет рассказать о вещах и событиях, мимо которых мы проезжаем. Он показывает на них пальцем, будто они стоят наготове по сторонам железнодорожного полотна. Он называет века, как номера домов на знакомой улице.

— Вот это третий до нашей эры, — говорит он, — а вот десятый нашего летоисчисления, там, впереди, пятнадцатый...

Этот человек сейчас же рассказывает, что из холмов Аннау археологи выкопали множество замысловатых вещей, среди них — горы статуэток, не изображенные богов, нет, и не безделушек, а — чорт их знает! — неизвестного назначения маленьких статуи, и о них спорят до крови, чему бы они служили.

И человек говорит с ехидством:

— И никто же не додумался... а очень просто... у них кукольный театр, видеть, был в моде.

И тут же, не дав никому передохнуть, рассказывает о себе. Он ездил на посевную, был в местах, где господствует век без номера, а люди живут вне времени. Он проводил контрактиацию хлопка, в доказательство чего распахнул портфель и показал кипу исписанных и пахнущих салом бумажек.

— Я с каждой сниму для себя копию, — говорил он. — Извините-с, я стану следить за заготовкой. Я этим объективным штучкам не верю. Сам — реактив

— Кто? — спросили мы.

— Реа-актив, — ответил он, — реальный активист, если сказать пространно.

И тут же, меняя курс разговора, настойчиво стал добиваться рассказать нам историю о старике Худай-Бахима, известном жулике, которого он только-что встретил в разездах по хлопку.

Бурная жизнь Худай-Бахима заслуживает быть рассказанной. Вот она.

...С тех пор, как скупка ковров у ткачей была взята в руки Госторгом, а союзные почти перестали ткать, Худай-Бахим стал торговать плакатами. Расстелив дырявый коврик на базарной площади, он усаживался на него вместе с кумганом для чая и жестяной подставочкой для углей, кипятил на углях чай и вел жизнь. По краям ковра он размещал товар — грязные аптечные пузырьки, флаконы из-под духов и плакаты. Перед его ковром всегда стояла толпа любопытных. Он продавал плакаты, как старый знаток. Он не читал ни на одном языке, глаза его видели плохо, назначение плакатов не понимал он, а продавал, как искусство, как живопись, хвалил краски, драматизм действия или сложную и оттого интригующую непонятность их.

К вечеру все у него бывало продано. А утром он вновь появлялся, расстилал ковер и разбрасывал вокруг себя полотнища бумажных картин. Снасть благоприветствовало Худай-Бахиму, продавцу исключительного товара. Соседи-купцы косились на него, завидуя. Хозяйки хороших домов заказывали ему товар на будущее. Сам миллионер Султан теперь отвечал на приветствия старика, а финансист начислил ничтожный налог, говоря поощрительно: «Твоя, Худай-Бахим, работа культурная. На, живи!»

Но однажды у старикова ковра в прекрасный базарный день раздался крик гнева. Весь базар шарахнулся узнать, что случилось. Человек в сетке, едва сдерживающей багровую грудь, слез с коня перед стариком.

— Вот где мой телефон оказался!.. Три недели ищу!

Он поднял к глазам желтый лист старого, испорченного мухами, временем и людьми плаката: «Пьянство в праздники — религиозный предрассудок» с карандашной припиской сбоку: «Шей в будни».

На полях плаката значились многочисленные номера телефонов, адреса и фамилии.

— Так и есть! — громко, на весь базар, сказал человек в сетке. — Смотрите, пожалуйста, граждане. Что тут написано?

Зайкался от приближающегося удоволь-

¹ Из книги «Путешествие в Туркменистан».

ствия, мальчик, стоявший рядом, прочел: «Коля, приедешь в Москву, то позвони 0-72-72 какое хочешь время лучше 11—12 часов ночи Мара».

— Так? — громко всех спросил человек. — Тут у меня личный вопрос, вы видите. Меня не было, когда она уезжала. Возвращаюсь, мне говорят ребята, иди, на плакате все записано. Ну, думаю, чего спешить, завтра с утра прочитаю, все равно темно. Утром встаю — пустая стенка. Никакого плаката. Я к ребятам, думал — шутка, бросьте, говорю, дурака валять, чего вы спекуляцию разводите, номер не пройдет, не такая она баба, ну, вышел скандал, до драки, тут у меня личный вопрос был, понимаете. Объяснились конечно потом, а факт пропажи плаката... А старик где? — крикнул он. — Держи старика! Кем он поставлен, чтобы плакаты с учреждений воровать? Где старик?

Кинулись искать Худай-Бахима, весь базар всполошился, но пропал старик, не разыскали его нигде. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу, будто и не было его вовсе...

Развалины Аннау слились с горизонтом, и небо, разграфленное телеграфными проводами, встало в окне пустой желтизной своей.

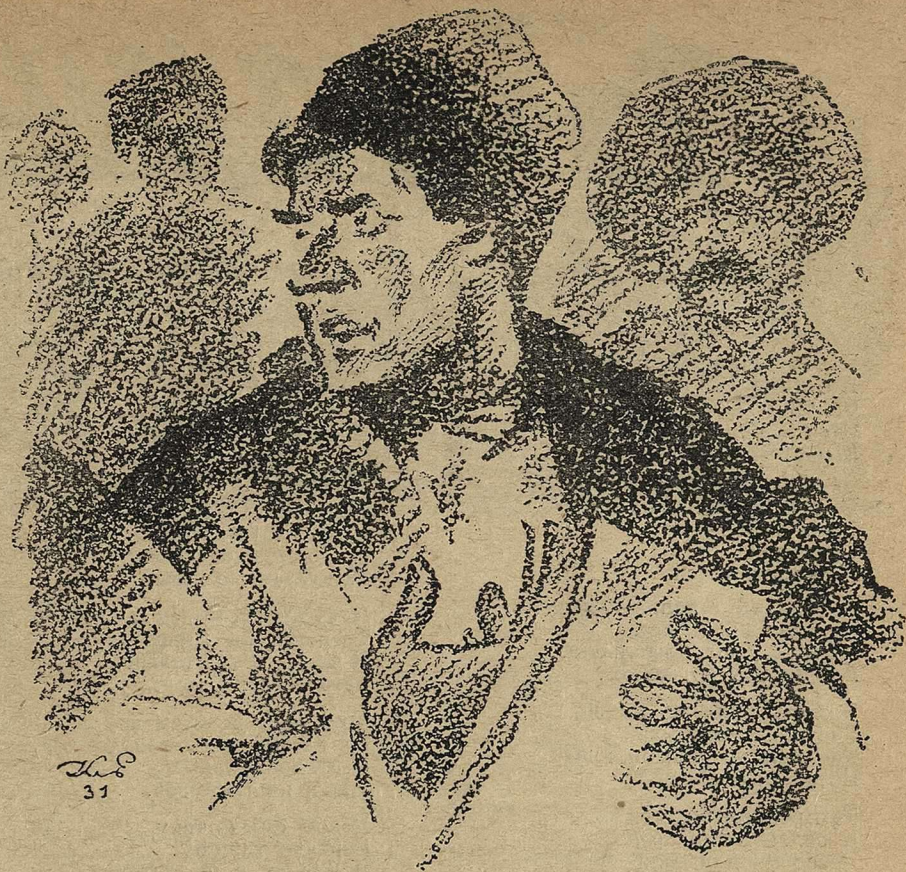
Изредка на дрожащих линиях окна появлялись замысловатые росчерки птиц. Красноречивый, умолкнув, смотрел в окно, читая его.

Вагон, посмеиваясь, переживал историю Худай-Бахима. И опять, остановив смех и отдельные частные замечания о народных искусствах, красноречивый человек произнес несколько слов, возвращающих ему наше внимание. Он сказал так, будто выругал нас, со слюной на губах, что бросает работу в кооперации и становится кукольным, актером кукольного театра.

Его спросили, давно ли он из больницы, и рассказчик ответил такой жалкой улыбкой от счастья зауравившегося человека, что сразу оборвал все насмешки. Предупреждая новые наши догадки, он поспешно объявил, что прошел чистку и не подлежит сокращению.



Правая рука туркмена была перевязана...



Я этим объективным штучкам не верю. Сам — реактив

Слова его об уходе в театр кукол приобрели тревожную и бестолковую сложность, когда он промямлил, что автор «Лизистраты» Аристофан широко пользовался кукольным театром для демонстрации своих пьес.

— Вы писатель?

— Нет, — ответил он. — Но, знаете, в Германии кукольный театр высоко оценен в педагогической работе.

— Вы педагог?

— Да нет, кооператор я, счетовод — кооператор, — ответил красноречивый, торопясь начать речь и посмотрел в окно — прочесть в нем что-нибудь, но оно было пусто.

— Я был на посевной, — сказал он, — Организовывать бедноту очень трудно. Все получается неожиданно. Очень трудно. Тут как раз встретились нам два перса — кукольника, бродячие актеры. В Херсоне им устроили побоище за издевательство над религией и порядками старины. Спасая своих кукол, перешли персы границу и стали собирать наши аулы на представления, в которых показывали страдания бедности и благородство отважной любви. Мы, — он

взглянул на окно и потом в дальний угол вагона, — мы повторили их представления по-своему. Актеры, пьеса, все было приготовлено на ходу. Искусство в массы. Как следует. А в районе Байрам-Али нашего веселого балагура Кеминэ, героя кукольного ансамбля, украли баи. Что за чорт! Вот народ-то! Ну, в Иолотани мы снова показали его. Вечером, на последнем сеансе, какой-то сукин сын выстрелил в ширму, пуля разбила лицезерчик-приборчик, чтоб говорить фальцетом, и наш Кеминэ потерял голос. Замучились. Переделали пьесу на другой лад. Ничего. А в старом Мерве опять появился наш Кеминэ перед дехканами жив-невредим. Слава об актере, который не умирает, шла за нами следом. Мы вели контракцию под спектакли. Кеминэ рассказывал о покушении на него кулаков, агитировал за колхозы, пел песни и рассказывал веселые анекдоты. В Сары-Су чудак пробил ему пулей грудь за оскорбление Магомета. Толпа ошалевших кулаков бросилась к ширме, но мне все-таки удалось вынести пробитого пулей Кеминэ и в тот же день показать его детям в школе. Он пел и шутил, как ни в чем не бывало, а грудь забинтовали куском кошмы.

— Это был человек или кукла? — спросил кто-то.

Красноречивый раскрыл чемодан и, вынув из него, показал нам куклу в туркменском халате, с тельпекком на голове, сделанную на манер рукавицы, в которую вдевалась рука человека, чтобы играть роль туловища. Деревянное лицо Кеминэ было испачкано кровью, и черные шерстяные усы заскоружили и превратились в палы.

Мы засмеялись, и красноречивый буркнул: «Ну, да, человек», привстал и строго посмотрел в угол вагонного коридора, где у окна сидел, сгорбившись, смуглый туркмен. Мы увидели: правая рука туркмена была перевязана и покоилась на груди в тамбуре из кумачевого головного платка.